

LE MESSEAGER

# ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО  
ДВИЖЕНИЯ

133

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 133

TRIMESTRIEL

I - 1981

## О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ НАДЕЖДЫ МАНДЕЛЬШТАМ

(из частного письма)

Я сегодня дежурю у Надежды Яковлевны.

Чистое, почти прозрачное лицо на подушке. Я уговариваю ее поесть, она нехотя соглашается, но отведав японских спагетти, ест их с удовольствием, приговаривая: «Вкусно готовят, проклятые буржуи...» Потом я даю ей черничный компот и мы тихо беседуем, одни в квартире.

— А что, если я сегодня умру? — Не допустим, Н. Я., на то мы и дежури́м около вас, как жандармы. — А я возьму и наду́ю вас... — Не выйдет, не старайтесь, мы хитрые...

Так мы шутим в привычном для нас тоне, шутка без улыбки, и я про себя удивляюсь чистоте этого старого, почти бесплотного тела. И ела она удивительно чистоплотно, осторожно. Страшная худоба лишь обострила, но не изменила черты ее лица. В последние дни во время еды или разговора, она вдруг испускала стон с выражением внезапного испуга, почти ужаса, но на мой вопрос почему она стонет, она давала ответ уклончивый и рассеянный. Иногда мне казалось, что она боится оставаться одна в комнате, она поминутно звала нас из кухни, и на вопрос что ей нужно явно придумывала предлог: дайте папиросы, спички, или же говорила с подкупающим смирением: посидите со мной.

В девять часов пришла Вера, мы с ней поговорили на кухне, и потом, поцеловав Н. Я., я ушла с необычно тяжелым сердцем. По дороге корила себя, зачем я запрещаю звать нас из кухни, напрягая голос и тратя последние силы, когда на столике около нее колокольчик. Однажды она в этот вечер долго звонила, а я в кухне не связала этот непривычный для меня звук с ней. Она меня кротко упрекнула.

Пошла ее последняя ночь. Н. Я., по словам Веры, вставала, даже посидела на стуле, как советовал врач, немного читала. В какой-то момент, она сказала Вере: «Ты не бойся...». В другой: «Мне страшно...». В последнем разговоре помянула Блока с укором за его пристрастие к духам: «Дыша духами и туманами...».

Отошла она уже под утро, тихо, в полусне, словно в обмороке.

А я в это утро поехала в десять часов в библиотеку, сидела там, читала, и странным, странным образом в ушах тихо-тихо звенел тот неслышанный мною тогда на кухне мелодичный колокольчик. Едва я вошла к себе, как раздался звонок по телефону и мне сказали, что Н. Я. скончалась. Вскоре я поехала в Черемушки с подругой. Мы нашли ее уже лежащей на столе, в углу под иконой горела лампадка. Она вытянулась во всю свою длину-высоту и лицо ее меня поразило. Ушли боль, страх, стеснение, раздражение. Лицо умное, просветленное, исполненное достоинства и спокойного сознания: я прожила трудную жизнь, но я донесла до дела свой дорогой груз. Мы тихо просидели до вечера, и смеясь у ее гроба кто-то все время читал псалтырь. Было её ошутимое присутствие.

На следующий день во вторник 30-го декабря под вечер мы подъехали к дому Н. Я. и на лестнице увидели двух милиционеров, и не сразу связали их присутствие с квартирой № 4. Но когда мы вошли, мы застали человек пятнадцать друзей, растерянных и расстроенных: из милиции звонили и предложили освободить квартиру. А как же быть с покойной? Покойную мы вам поможем вывезти, мы не можем опечатать квартиру, пока она там. А куда вы её повезете? Куда? Найдем куда. Зачем? Таков закон, а вдруг у нее спрятаны миллионы, объявится законный наследник и нам придется отвечать. Наш врач Юра пошел разговаривать с начальством. А мы в это время метались по квартире, вынужденные предать ее, отдать ее в морг, оставить одну. Кто плакал, кто сердился, кто доказывал, что надо вызвать свидетелей, другие не хотели взломанных дверей и прочего срама перед смертью, перед покойницей. Выражение на ее лице словно изменилось и преисполнилось высокой иронией: «не суетитесь, мои милые, судьба-злодейка не отпустит меня пока не уйду под землю, она так и дотопает со мной до самого конца». Ум, свет, высота, ирония, уж освобожденные от «земных уз», от страха, от прислушивания к чужому звонку, от многого, многого.

Юра вернулся и сказал, что таково правило, когда умирают одинокие люди, что ничего сделать нельзя, но что они хотят взять ее на носилках без гроба, так как гроб не умещается в их машине, а это уже совсем недопустимо. Но машину «пригнали издалека» и считаться с нами не собирались. Когда вошел шекспировский, слегка под мухой могильщик с невероятно уродливыми

носилками и предложил, чтобы мы вынули ее из гроба, мы все сразу закричали и вытолкнули его криком. Он попятился и вышел, захватив носилки. Долго шли переговоры, милиционеры то и дело ходили звонить начальству, и так оно длилось около часу, пока не пришел разъяренный начальник и не предложил немедленно «освободить помещение». Тогда наши мужчины бережно вынесли от-



Похороны Н. Я. Мандельштам в Москве.  
Вынос тела из церкви Знамени Божьей Матери

крытый гроб и отдельно крышку, которой закрыли его после установления его в машине, где он все-таки уместился. Машина сразу двинулась к моргу института морфологии. Мы не торопясь выходили, милиционеры косились на сумки, но только один раз у одной из нас спросили, что она уносит, она огрызнулась и прошла. Вера вынесла Библию и отказалась отдать ее. Выносили мелочи

личные, заветные. Что касается архива, Н. Я. задолго отдала его, кому завещала им заняться. Надо признать, что оба милиционера, стоявшие на лестничной площадке, вели себя спокойно, с каким-то крестьянским уважением к смерти. Господ «в штатском» я как всегда, принципиально, не видела. Белые пятна в глазах у меня на них. Начальник шумел, но не злобно. Могли бы ведь начать обыскивать, не уносим ли «миллионы», ведь все делалось ими «для защиты интересов возможного законного наследника»... Нет к ним претензии. Претензии к «злой судьбе», назовем ее так.



Похороны Н. Я. Мандельштам на Троекуровском кладбище

Потом я узнала, что Юра чуть не договорился о месте на Ваганьковском кладбище, где могила брата Н. Я. В последний момент переговоров позвонили по телефону «сверху». Некто «дал указание» не предоставлять места для захоронения Мандельштам. Не устраивать же в самом деле паломничество клеветников к могиле, так близко от центра города. Внимание распорядителей сверху было вероятно привлечено сообщением о смерти Н. Я. западными радиостанциями буквально в день смерти, а то когда бы удосужились.

1 января в 15 ч. мы увезли ее из морга в церковь на Фестивальной улице, где на следующий день было отпевание. Хор пригласили прекрасный, профессиональный, он поразил меня вы-

соким качеством, отсутствием обычной безличной прохлады. Маленькая церковь была наполнена до отказа, кто-то насчитал около 500 человек. Стояли люди и около церкви, кто не сумел войти, и те, кто обычно не бывает в церкви и пришел из уважения к вдове поэта. Были и такие, кто воспринимал ее религиозность, как одно из ее чудачеств. Лица все без исключения интеллигентные, лица, которые обычно выделяешь из толпы, лица с печатью индивидуальности, освещенные снизу свечками, сосредоточенно внимали пению. Аристократия духа собралась почтить автора самой замечательной книги о нашей жизни, почтить высоту, достоинство, с которым она прожила и пронесла для России забытую было поэзию Осипа Мандельштама. Глубокое внимание и волнение публики словно еще больше одушевляло поющих, и как-то сама собой возникла удивительная эстетическая атмосфера и почти праздничная приподнятость.

На двух или трех автобусах и многих машинах все поехали на старое Троекуровское кладбище. Шел легкий снежок, очень украсивший это кладбище, стоящее под старыми соснами и обжитое белками и птицами.

Очень узкой — трудной, как жизнь Н. Я. — тропой пронесли на плечах дорожную ношу, и под высокой сосной опустили ее в землю. Могильщики заработали лопатами. Потом мы покрыли могилу цветами и зажгли свечи. Люди медленно, нехотя проходили, уступая место другим. Запорошенное снегом кладбище, цветы, свечи и лица, лица...

январь 1981, Москва. **Н. Н.**

## ИЗ ПЕРЕПИСКИ Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ с Н. А. СТРУВЕ

---

Мое эпистолярное знакомство с Надеждой Яковлевной, которым я обязан одной студентке-француженке, ставшей впоследствии православной монахиней, началось в 1964 г. и продолжилось до самой ее смерти. Но, к сожалению, оно так и осталось все эти 16 лет заочным. Получить Надежде Яковлевне визу в Западную Европу казалось совершенно нереальным. Потом, годы и болезни уже не позволяли и мечтать о путешествии, и уж тем более, об эмиграции. В Москве ее окружали любовь и повседневная забота многочисленных друзей и почитателей, к ней приходили на поклон десятки профессоров и студентов из всех стран мира.

Письма свои Надежда Яковлевна посылала, пользуясь редкими случаями; часто, боясь подвести путешественника, она ограничивалась устной передачей. По почте она писала, и то только начиная с 1969 года, лишь деловые записки, большей частью на английском языке, с жалобами на здоровье и просьбами лекарств для больного брата и для других близких ей лиц.

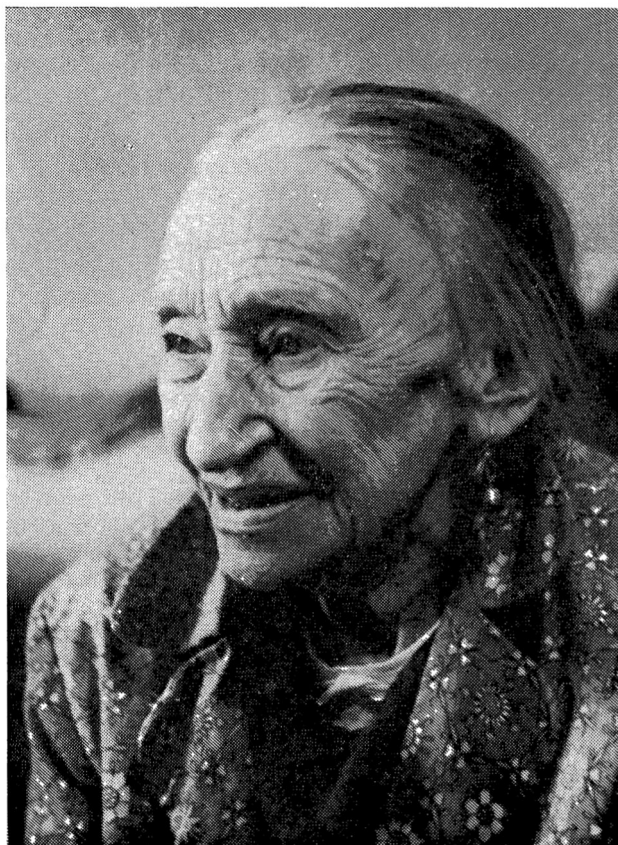
Наша связь укрепилась после выхода в свет третьего тома «Собраний Сочинений», где в вводной статье изложенные мною тезисы о Мандельштаме пришлись ей очень по душе (хотя она и считала, что я недостаточно уделяю места эллинизму).

В 1970 г. Надежда Яковлевна поручила ИМКА-ПРЕСС издание второго тома ее «Воспоминаний» (первый вышел по-русски в новом «Чеховском» издательстве). Оба тома — не только книги о великом поэте, но одна из самых пронизательных попыток осмыслить все советское пятидесятилетие. Во второй книге, озаглавленной по-английски «Потерянная надежда», Надежда Яковлевна, не надеясь больше на изменения в России, дала волю своей «литературной злости»: суровых суждений не избежала даже Ахматова, верный спутник всей жизни. Психологически Надежда Яковлевна жила, прикованная к воспоминанию о гибели Осипа Эмильевича, Ахматова же дожила до второй волны славы, вплоть до заграничных поездок. Эта разность в судьбах и запечатлелась в оценках, содержащихся во «Второй книге».

Когда была издана по-русски и во многих переводах «Вторая книга», когда на Западе «Собрание Сочинений» вылилось в трехтомное издание почти академической полноты, когда наконец случилось чудо, и пусть изуродованный, но томик Мандельштама вышел и в России, Надежда Яковлевна почувствовала, что она свое земное назначение исполнила. Она стала ждать смерти... Люди, знавшие ее близко, когда-нибудь расскажут о ее духовном пути... «Православная еврейка в третьем поколении», она пришла сознательно к вере, как и Пастернак, в послевоенное время, при переосмыслении всего происшедшего. Характерно, что в письме от 1964 г. она еще отрицала за фактом крещения Мандельштама в 1909 г. какое-

либо религиозное значение, а недавно, в письме к владыке Иоанну Шаховскому, противореча самой себе, переосмыслила это событие в свете собственной эволюции.

В 1936 г. Мандельштам писал из ссылки Пастернаку: «Тем, что моя «вторая жизнь» еще длится, я всецело обязан моему единственному и неопенимому другу — моей жене». Но и своей посмертной судьбе, своей «третьей жизни» Мандельштам обязан в значительной мере, если не целиком, «другу и жене».



Н. Я. Мандельштам (недавний снимок)

За свою верность Осипу Эмильевичу, Надежда Яковлевна была вознаграждена. Свидетельствуя о нем, она выросла в свидетеля всей эпохи, и вошла в русскую литературу не только как сохранившая наследие мужа, но и как большой, самобытный писатель-очевидец.

Никита Струве



июнь 1964 г.

Уважаемый Никита Глебович!

(Вы не написали своего отчества и я его дарю вам наугад? Внук вы или сын?).

Я постараюсь вам кратко ответить на поставленные вопросы и очень огорчаюсь, что нельзя посидеть рядом и поговорить по существу. Ответы мои будут поверхностны. Ведь это наш первый, а может и последний разговор.

Вы не ошиблись, что у О. М. была астма. По ритму стихов («Я это я, явь это явь...»). Это часто слышно. Но это не одышка Фета. Что-то другое.

О. М. был крещен где-то в Финляндии. Это был самый заурядный практический шаг и никакого отношения к его мировоззрению (безусловно христианскому) не имел. В молодости у него был интерес к католицизму (до меня; мы сошлись, когда ему было 29 лет, но он мировоззренчески был совершенно зрелым человеком). Гораздо существеннее его внутреннее отношение к христианству и к философии. Впрочем, говоря о нем, правильнее было бы говорить не о мировоззрении, а о мироощущении. В католицизме, мне кажется, его интересовали организационные формы, авторитет, система мысли. Если хотите, архитектурное целое. О православии он сказал сам в стихах об Исаакии. В философии плохо переносил системы и, пожалуй, ближе чувствовал русскую, не говоря уже о Чаадаеве, и Киреевском, и Хомякове, и т. д. Кстати, О. М. признавал себя евреем и русским поэтом, и это умещалось в нем очень спокойно (в Пастернаке — нет).

Из лингвистики он вынес скорее общее представление (курс в Унив., семинары Шишмарева); во всяком случае легко угадывал в разговорах с языковедами и филологами (напр. с Усовым) последователей Соссюра.

Языки изучал непрерывно, необыкновенно быстро и легко. Читал последние годы и по-испански, и по-итальянски. Возился с армянским. Имел общее представление об индоевропейском. Но его толкал к изучению языка тот или другой поэт или слой литературы (армянские древности, Моисей Хоренский и т. д.). Переводов в руки не брал. (Впрочем, Хемингуэя читал в переводе).

Вообще об умственных увлечениях О. М. в размерах письма

говорить трудно. Для него характерна непрерывная умственная деятельность и страшное любопытство к различным формам познания, но как-то он все понимал в каком-то единстве и цельности; Поэтому я и говорю о мироощущении, а не о чем другом.

С Белым была встреча летом 33 года (когда О. М. писал «Разговор о Данте»). Был большой интерес к нему. Смерть Белого поразила О. М. эмоционально. Но я как-то спросила его (когда шло «он кажется дичился умирания») почему столько панихидных стихов? Он ответил: а может это я себя хороню...

Что касается до комментария к стихам, мне кажется, что если знать прозу (с записными книжками, статьями и т. д.) они часто становятся яснее, потому что все исходило из какой-то центральной мысли (или ощущения, или чувства). Положение О. М. было таким, что те, кто его любил, не мог о нем писать (Лозинский не писал). Надо было для этого дожить до наших дней, да и то и сейчас не так все просто. Вот Ахматова дожила. Другие ее современники, кто мог бы о нем сказать, не дожили или выжили из ума. Выжили из ума (если были «в уме») и младшие. Мне иногда попадаются воспоминания разных людей и я поражаюсь их ничтожеству. Кстати, большое влияние чисто журналистской (анекдотической) трактовки Эренбурга на этих вспоминаателей (даже самых дружественных). Эренбург все строит на противопоставлении: «боится сырой воды, а не боится ничего» и тому подобное. Даже рост понадобилось уменьшить: маленький, но большой... Щуплый, хилый и тому подобное. Всего этого не было. Но этот тип «легенды» очень подходит средним людям. Тут ничего не сделаешь. Большая душа в хилом теле — это журналистская мура.

До фотографий мне сейчас добраться трудно. Они не у меня (так надо). Но я найду способ отпечатать для вас несколько. Их мало. Две юношеских; очень хорошая та, которая в невероятно искаженном виде была напечатана в «В. [оздушных] П. [утях]» (23 лет), затем через десять лет — старик с бородой; и 2-3 воронежских. Они кое у кого у вас есть. Он снимался редко и вообще принадлежал к числу писателей, которые «не смотрятся в зеркало» (это я цитирую Розанова).

Мне очень жаль, что это спешно написанное письмо заменяет нам простую беседу.

Н. М.

Сейчас и у нас люди, читающие стихи, очень чувствуют и понимают О. М.

Многоуважаемый Никита Алексеевич!

Пишу второпях — надо нынче же кончить. И поэтому смогу сказать очень мало. Спасибо за книги. Вы сами понимаете, какая это для меня драгоценность. Сейчас я на даче. Хотела прислать фотографии, но их здесь нет. Думала о Скрябине и обрадовалась, найдя эту статью напечатанной. Это клад; сохранился только этот обрывок.<sup>1</sup>

Что за письмо из лагеря в архиве Фадеева? Я такого не знала. На чье имя? Из лагеря было одно письмо брату (Александр Эмильевичу).<sup>2</sup> Про меня он думал, что я тоже там. Если б это случилось, ничего бы не сохранилось...

Голос О. М. был действительно записан Сергеем Игн. Бернштейном, но все эти записи были уничтожены.<sup>3</sup> Писать о том, как он читал, трудно. Многое я помню, пробовала протонировать, как это делает фонетист, но ничего не выходит — этот вид записи ничего не дает, кроме повышения и понижения. Этого очень мало.

В «Разговоре о Данте» есть несколько слов о дирижировании при чтении стихов. Это, конечно, самопризнание, как и почти весь «Разговор...» Он представляет собой поэтику О. М., и главное зрелую.

Спасибо за предисловие к Скрябину и стихам. Все, что вы пишете, мне очень близко (Я не говорю об оценке — это принадлежит, так сказать, не мне. Я только верила в О. М., и мне в этом во все годы брака помогла Анна Андреевна — друг всей нашей жизни).

Есть ли «юмор» в «Четвертой прозе»? Думаю, что юмора нет. Это неистовство. «Египетскую Марку» я считаю неудачей — момент смятения духи, колебаний и неверия... «Четвертая» положила конец этому неверью.

«Бытовой боязливости» у него не было. «Устриц боялся» — подросток.

Стилизация («хохолок» и прочее)... Масса анекдотов идет от Волошина. Из него делали Виллона, петушка с могучим голо-

<sup>1</sup> Впервые статья о Скрябине и Пушкине была напечатана в «Вестнике РСХД», № 110.

<sup>2</sup> Это письмо пришло на Запад как бы из архива Фадеева.

<sup>3</sup> Как выяснилось недавно, часть записей сохранилась.

сом, глупого и робкого чудака... Вероятно, он был не по зубам. Кстати, Маковский выдумал про мать все от начала до конца. О. М. при жизни знал это и очень огорчился. Мать отнюдь не еврейская торговка. Она музыкантша (давала уроки музыки). От нее музыкальная культура. Семья описана в «Шуме Времени». Отец и мать люди разной культуры и разной жизни.

Сейчас много выдумывают легенд — и про жизнь и про смерть. В воспоминаниях Всеволода Рождественского выдуманы целые речи (по типу «акмеизм»).

Николай Чуковский в журнале Москва № 8 (если пройдет) пишет, например, что О. М. был похож на Пушкина и знал это, и пришел одетый Пушкиным на костюмированный вечер. На Пушкина он похож не был, имени Пушкина все не упоминал, и в Пушкина не рябился... Кстати, все даты у Чуковского перепутаны и сведения фантастичны...

Кстати, где-то у вас появилась еще одна легендарная история смерти (столкновения с уголовниками)... Я собрала груды легенд о смерти и картина получилась неслыханно страшная, но другая. Видела и говорила с несколькими, кто был с ним. Умер он 27 декабря 38 года (дата официальная и поэтому сомнительная). Последняя легенда — умер на пароходе на Колыму и сброшен в океан. (Нет...)

Попал он в блатные песни, но с эренбургским костром и Петрарком... Значит, через Эренбурга.

Книга Celan'a<sup>4</sup> у меня есть.

Вероятно, этой зимой сяду за «Труды и дни». («Возможна ли женщине мертвой хвала» — Ольге Ваксель. Ей же — «Жизнь упала, как зарница»).

Очень интересен мне план вашей книги. Дай то Бог, чтобы она осуществилась. И вопрос о ключевых метафорах очень существенный. Но как определить общее мироощущение, ту «основную идею», которая делает человека человеком? Что это христианская идея, это несомненно. Но важна конкретизация... Философское самоосмысление.

Когда издавался однотомник, не напечатали статейку из «Накануне» на тему «Куда мы входим», где мера истории — человек.<sup>5</sup>

Это было временем надежд, и тут у О. М., раньше чем у других, появилось беспокойство. Для нас это существенная статья.

<sup>4</sup> Немецкий поэт, поклонник и переводчик Мандельштама, покончивший жизнь самоубийством.

<sup>5</sup> Она напечатана во втором томе.

Случится ли когда-нибудь, что мы увидимся? Вероятно, нет. Мое время подходит к концу: мне уже 64 года, но никогда нельзя знать...

Н. М.

Может, вам нужны книги от нас...

Пишите по почте тоже...

В Воронеже была высылка (жил свободно, в городе).

(Сначала приговор — Чердынь, тут же изменен на Воронеж (минус 12).

Кончилась в мае 37; в мае 38 второй арест и смерть в пересылке.

### 3.

[осень 1965]

Мне нужно о многом вам написать, и я постараюсь быть толковой.

Мое отношение к мемуарам Одоевцевой и прочих, и к использованию их в первом томе. Одоевцеву я читала только в одном номере. Там злобедного вранья нет — просто видно, что она совсем не знала О. М. (ручка течет — я наверное не умею с ней обращаться!<sup>6</sup>). Николай Чуковский тоже не знал и тоже насочинял и напутал, и я сознательно не исправляла — пусть видят, кто пишет. Рождественский заставил О. М. говорить сентенции, разоблачающие акмеизм как глупую и эстетскую школу. Сделал это во славу постановления. Г. Иванов это просто желтая пресса. Он открыто признался, что врет (бал у Каменевых), и эту пакость умиленно перепечатали. Да еще обвинили О. М. чорт знает в каком хвастовстве и вранье: Манд. якобы сам «присочинил», что по его просьбе обещали расстрелять кого-то. Понимаю, что автор статьи не мог разобраться во всей этой истории, но его комментарий привел меня в бешенство (...) И кстати, это значит ничего не понимать ни в Мандельштаме, ни в этой истории, которая была протестом против расстрела и благодаря которой удалось спасти человека. Или «красочный» рассказ Маковского о приходе в редакцию «Аполлона» еврейской торговки с жиденком. Что это брехня, догадаться было легко (вопрос, зачем она понадобилась Маковскому) — стоит вспомнить, что отделом поэзии в «Апол-

<sup>6</sup> Мной посланная через Ахматову во время её пребывания в Париже.

лоне» ведал Гумилев, а не Анненский, с которым Гумилев был близок. (Познакомился О. М. с Гумилевым в Париже — 1907? 1908?) Именно Ник.[олай] Ст.[епаныч] привлек О. М. к участию в журнале. Кстати, О. М. знал этот рассказ Маковского и был возмущен им. (Не мешало также автору статьи, специалисту по русской культуре, знать, что такое Тенишевское училище, куда мать отдала О. Эм. Если она бы предназначала его в торговцы, вряд ли она послала бы его учиться в Тенишевское уч., в Париж и в Германию...).

Что-то не то... Знание музыки (спросите Лурье) у О. М. от матери. Никакой он не самородок, открытый умным Маковским. Между прочим, печатался он до «Аполлона», и многим обязан Гиппиусу (Владимиру), своему учителю в Тенишевском.

Неужели окончательно исчезло критическое отношение к источникам? Жаль, потому что и там, и здесь пишут всякую дурь: создается полная безответственность, потому что всё уже давно находится в ненормальном состоянии — нет настоящей комиссии по наследству, людей, знавших О. М., почти не осталось, а спрос на мемуары о нем есть... К тому же Ос. Эм. был не по плечу своим современникам. Мало кто мог бы о нем рассказать в полную силу. Всегда предпочитали анекдот. Это пошло еще с Эренбурга и Волошина. Каким-то образом второстепенные поэты как бы компенсировали себя за свою второстепенность, находя смешные черты и рассказывая анекдоты про О. М. Доходит это до идиотизма: маленький рост, хилый, мамаша не та, компенсирует себя за то, чего ему раньше не хватало в разных салонах... (А чего ему не хватало? Денег?) Что за чушь!

Что с этим делать? Думаю, что ничего. Просто игнорировать, пока это не попадает в собрание сочинений. Вы понимаете сами, какое у меня ложное положение, если такое собрание выходит без моего ведома и там еще обсуждается вопрос, был ли это счастливый брак или несчастный — по-моему, такие вопросы ставятся после смерти вдовы, а я еще пока жива. Кстати, об университете, О. М. закончил последний курс, но не пошел сдавать (госэкзамен). Экзаменов не переносил.

Теперь, к стихам и к поэту. Мне кажется, что О. М. это один из немногих людей целостного мировоззрения, и в каждой строке оно как-то отражено (как и в жизни). Чтобы вылущить главное: это кое-что в статье о Скрябине и в «Утро акмеизма». Здесь я думаю существенны слова о том, что символисты были плохими «домоседами» и рвались в потусторонний мир, из этого

— трехмерного, где мы находимся, для того, чтобы строить. Если исходить из этого, то понятие «вещи» углубляется, кроме того есть понятие «утварь» — т. е. то, что окружает живущего — вещь для человека, культура... Бергсона он знал (чуть-чуть), даже где-то упоминает. Флор.[енского] знал. Одно время это была его настольная книга. Вообще, русскую философию понимал лучше, чем классическую.

Ваша мысль об иудейско-христ. отношении О. М. к «вещи» мне интересна, но не совсем ясна. А вот к вопросу о символике и о ключевых понятиях. Важно, чем отличается символ у символистов и у О. М., у Блока (ключевые слова) (и у О. М.). У Бердяева есть о двух видах символизма и это существенно для О. М. У О. М. это всегда понятийно и имеет определенные источники. Например, мышь (№ 195) — символ времени в индуизме. Вторая ассоциация — пушкинская. Обратили вы внимание на то, что у Эллиота есть тоже поиски потерянного слова и чирикающий череп! Поэты друг друга не знали, но область случайностей (далеко не случайных) весьма обширна.

Что могу я вам рассказать в письме о О. М.? В сущности ничего. Его письма ко мне есть у Вадима.\* Возьмите и прочтите... В них виден человек. Воспоминания А. А.[хматовой] очень искажены в печати. А вот письма Ос. Эм. к Вяч. Иванову совершенно не интересны. Это А. А.[хматова] не права. Это несколько записочек при посылке стихов. Замечательное есть мальчишеское письмо (оно в архиве В. В. Гиппиуса), совсем не похожее на портретик, нарисованный Маковским. Вообще, мальчишкой он уже имел наглость вести себя, как власть имущий. Что касается до издания, то в нем напутан порядок, но тексты в общем сносные. Стихи про «Тетушку» принадлежат О. М. — это одно из шуточных. О Маргулисе сведенья ложные. Об избиениях его уголовниками слухи видимо ложные, а если и было, то к тому, что он брал чужую пайку, это отношения не могло иметь. Где и когда в лагерях может где-то лежать пайка хлеба? Ее можно только вырвать изо рта. О том, что он не ел, боясь отравления, верно. От этой же болезни умер Зоценко, превратившийся перед смертью в свою тень.

О восьмистишиях. Они не к людям, а к наукам, понятиям и способам мыслить и познавать. Только «преодолев затверженность

---

\* Вадим Андреев, сын Леонида Андреева, поэт и беллетрист, живший в Женеве, но печатавшийся в СССР.

природы» связано с циклом Белому. Но почему вам пришло в голову, что стихи «когда уничтожив набросок» могут относиться к Фаворскому? Здесь ведь речь идет о «периоде» — понятии чисто словесном. А в восьмистишии (это восьмистишие, как и пер-



Н. Я. Мандельштам (Хазина), 20-ые годы

вые два, о том, как работают в «ремесле словесном») «Скажи мне чертежник пустыни» — «иудейские заботы» относятся к ветру. То, что делает ветер. Это мелкие борозды, поверхностные изменения по сравнению с общим замыслом «чертежника» и «гео-



метра пустыни». Я люблю восьмистишия, особенно «бабочку» и «Шуберта». Может мы пойдем их, как нечто философическое? Кстати о текстах: в одном стихотворении вместо «будет губить» напечатано «будет будить». Выходит очень смешно. Санаторий около станции Чарусты («Саматиха») был обычного типа, отнюдь не нервным.

Видели ли вы публикацию стихов Осипа Эм. в журнале «Простор», который издается в Алма-Ате. К сожалению там тоже куча опечаток. Такая уж судьба ...

(Да! перевод из Гейне не принадлежит О. М. Почему не посмотрели инициалы?) (Переводчик Исайя Бенедиктович Мандельштам, упоминаемый в «Четвертой прозе»).

Еще раз о двух важных вехах: О. М. всегда, даже мальчиком, вел себя, как власть имущий. Прочтите статью о «Собеседнике»: ведь ее писал желторотый юнец. Или статью о Чаадаеве, которую нужно печатать по тексту журнала, а не книги...

И второе: это поведение было непонятно окружающим его случайным людям, вроде Иванова или Маковского, не говоря уж о тех, кто пришел в последующие годы. Поэтому к мемуарам надо относиться с большой критичностью. В частности Тагер очень мало знала его: в редакциях, куда он приходил, его обычно окружали люди, она наверное там его пару раз и видела. Женщина она была хорошая и наивная. К тому же, время тогда работало против Ос. Эм. и его миропонимания и поэзии. Сейчас оно работает «за» к великому удивлению старших поколений (Перцов!!), для которых это явилось ударом и полной неожиданностью.

Что же касается до меня, то в жизни я, кажется, сделала всё, что могла, и пора сворачивать манатки. Есть еще мелочь, которая мне очень любопытна; почему, издавая О. М. в разных изданиях — коммерческих и не коммерческих — забывают о том, что даже по нашим законам я наследница и все это принадлежит мне. Хотя конвенции нет, многим — кому хотят — платят. Мне бы это очень упростило жизнь, но никому это в голову не приходит. Очень жаль. Кстати, я не только наследница, но я еще всё сохранила, что было не так просто. Кстати, кто-то ответил по такому же поводу Анне Андреевне, что закон на стороне издателей... Мне это известно...

А теперь о том, что мне действительно нужно. Это пастель (голландская — пейзажная, т. е. интенсивная). Моя невестка, с которой я когда-то училась живописи, работает техникой гуашь с пастелью. Она одна из лучших наших художников (а такие

были и опять возникают), и я не перестаю всех умолять о пастели.

Если у меня есть друзья, я очень прошу их именно о пастели.

Я слышала, что вы хотели бы приехать. Я была бы очень рада. Но возможно ли это?

Н. М.

4.

14-2-69

Дорогой Никита Алексеевич!

Ахматова когда-то дала мне ваш адрес, и я обращаюсь к вам за помощью в тяжелую минуту. Тяжело болен мой брат, Хазин Евг. Як., и мы ищем югославский биотик «пятнонок» (он был на югославской выставке, но у нас его нет). Это может помочь. Если можете, помогите.

5.

Февраль [1969]

Милый Никита! Страшно обрадовалась вашему письму. Отвечаю сначала на вопросы о стихах. В стихотворении про Виллона 8 строк (две строфы) — «украшался»... и «ладил с готикой»... От длинного варианта О. М. отказался (акмеизм!). Александр Герцович сосед по квартире (у Ал. Эм.) на Старосадском переулке. Он брэнчал с утра до ночи. (Фамилии здесь нет — имя, отчество).

Винтовка Чапаева «захлебнулась», т. е. потонула. Это действительно первая озвученная картина, кот. он видел, кроме того у него была впечатлительность семилетнего мальчика и его можно было подцепить на любой эффект. (Оська у меня был дурак...) В картине Васильевых их полно. (Картошки, бритва, папироска в зубах)... Я была в Москве, когда он в первый раз видел этот фильм. Он встретил меня задыхаясь от восторга и сразу (на извозчике домой) рассказал и в тот же вечер потащил в кино. Меня не взяло. Интересно, что на Эйзенштейна он не клевал — всегда понимал жестокость его красивых картин. (Знаменитая коляска — чистый садизм). Васильевы хитрее Эйзенштейна и они трагичнее — обе дерущиеся стороны погибают. (Так всегда бывает и так будет).

О. М. очень любил детей и верил, что младенец «что-то знает» (в то время очень распространенная мысль, не только у Белого). Он действительно видел пленашку (сына Кретовой) и поразился

улыбке. (Дети ведь специалисты по улыбкам). Последних строф много вариантов, и все о космическом знании «младенца». Кроме того младенец воспринимает мир л е ж а и все как бы обступает его своей громадностью. (Это уж от Белого). Для него космос — детская комната. Космос для О. М. — материк и океан. Ведь у него детское конкретное мышление. (Какой у меня был чудный дурачок!).

.....

Я очень ценю Элиота («Четыре квартета» и «Ash-Wednesday»). Жаль, что несколько абстрактен. Но статья о культуре — ничтожна. В. Иванов во всех статьях нелеп. Был он властный и злой и подготовил в «элите» (мерзкое слово!) много дурного.

## 6.

Дорогой Никита!

Спасибо за письмо. Оно было огромной радостью. Отвечаю вам на некоторые вопросы (проблема — т. к. вы ничего не спрашиваете).

— Пускай по-итальянски будут сокращения. Важно только русское издание. И еще очень важно — деньги. Мое наследственное право вот-вот кончится, а всего оно дало мне рублей 500. Хоть на старости иметь два гроша, чтобы не думать о деньгах и помочь близким. Кому право первого издания? Может, в Голландии. Там есть какое-то издательство, которое заботится о наших гонорах. Только присылать их надо как подарки.

— Что я кусаюсь в начале (вас смутил Вяч. Иванов? Элиот?) Это ничего, хотя на меня в бешенстве за Волошина (толпы женщин) и за В. Иванова. Что касается Ахматовой, то эти признания мне самой тяжело дались. Я предпочла бы написать хвалу красоте и уму. Но надо, чтобы было только один раз про старую Ахматову (насчет «Поэмы» пусть остается).

«...губ людских» (Тут не только аллитерация — улитка, вылезшая из раковины, становится длинной, как и губы удлинняются в улыбке).

О переводе — хороший подстрочник лучше мнимого поэтического перевода, не правда ли! Я предпочитаю... Переводы наши

никто не читает. Это пирамида для стихотворцев. Черный труд. «Нюрнбергская пружина» в игрушках. В «щелкунчиках», например (Город романтиков). Это до фашистов.

Символ ли материк? Это реальность младенца. Может, буфет или ближайший холм, видный из сада. Влезьте в пеленки и полежите на спине первый год жизни. Оська влез.

Фаэтонщик действительно он. Дело происходило в Шуше. Мы могли убедиться в тщетности богатства (бездушный кокон). Этот город был сожжен и разграблен мусаватистами с восточной жестокостью. Большой город каменных богатых особняков, сохранивший улицы и внешние формы домов, каменную оболочку — наружные стены. Внутри все уничтожено. Город призрак.

Как будто все. Я очень довольна издательством. Считаю, что это лестно. «Вторая», конечно, даст гроши. Вся надежда на первую...

Я уже месяц лежу — сердце.

Н. М.

(Нет ли пластинок с православной службой? Достаньте мне таких пластинок. И еще — древнее католическое богослужение (григорианское)).

7.

1971 (?)

Милый Никита! Завтра я, вероятно, отправлю вам это письмо, но сегодня так устала, что не могу собраться с мыслями. Сказать надо много, но от сознания, что встречи не будет, язык присыхает к гортани. Одно помню, — антологий<sup>7</sup> я не получила. Надо ее еще раз послать через кого-нибудь. Хотела бы ее видеть...

... Спасибо за пластинки. Большая радость. Старость очень чувствует. Усталость. Полное отсутствие мысли.

Н. М.

---

<sup>7</sup> Речь идет о моей двуязычной антологии русской поэзии XX века.

(перевод с английского)

Милый Никита,  
.....

Я очень слаба и больна (сердце). Вряд ли долго продержусь, так я надеюсь. Я не боюсь смерти. Боюсь жить слишком долго, стать немощной. Это — судьба женщин. Недавно одна старая женщина умерла после того, как упала у себя в квартире и сломала себе бедро. А сын ее тоже недавно умер во сне. Это хорошая смерть, но я хотела бы умереть в сознании, чтобы причаститься. Мой священник мне говорит, что нужно нести свой крест до конца. Я смертельно устала, но знаю, что он прав. И крест — тяжел. Время его не делает более легким. Чужие несчастья я стала переживать как свои собственные. Но хватит жаловаться, я должна крепиться до конца, не правда ли?

.....

Н. М.

(перевод с английского)

Милый Никита!

Я смертельно устала, с трудом живу. Пришлось отказаться от приглашения в Оксфорд, я уже не в силах путешествовать. Анну [Ахматову] сопровождала Аня [Пунина-Каминская], это ей и позволило поехать. Мне этого никогда не разрешат (если вообще разрешат поездку). Я потому и отказалась от предложения. Оно пришло слишком поздно. Мои 74 года сплошная неожиданность. Никогда не думала, что так долго буду жить. И это были тяжелые года, заполненные тяжелой работой. В институте, где я работала, я преподавала 30 часов в неделю, и все

теоретические предметы — историю германских языков (английского и древне-немецкого), лексикологию, теорию грамматики, и все в том же духе... А также теоретическую фонетику. И без «субботних» выходных годов, как принято у вас. И летом даже не отдыхала! Это был действительно тяжелый труд без передышки. Но я была счастлива иметь работу. Я держалась за эту работу, хотя ненавидела преподавание, но у меня не было выбора. Те семь лет, что я получаю пенсию — результат этой работы. За покойного мужа я не получила бы ни копейки.

Имейте в виду, что вышедшая у нас книга стихов [Мандельштама] очень плоха. Та, что издана вашим дядей, куда лучше. Дурень Харджиев думает, что поэт не знает что́ хорошо, что́ плохо, и поэтому он поступил очень вольно с текстами, скрывая это от меня. Кое-что он изменил после выхода «Второй книги». К примеру, он не говорит, что «Улыбнись ягненок гневный» с о г л а с н о м о и м с л о в а м наваян Сикстинской Мадонной...

Если можете купить для меня несколько экземпляров нашей книжки, вы меня страшно обрадуете. Я получила всего 12 экземпляров, мне этого мало. Продается ли она в Париже? Надеюсь, что да. Скажите Вашему дяде, чтобы он с ней не считался. (Разве что: «Еще не умер ты, еще ты не один»), Все остальное — ерунда.

Поедь я в Оксфорд, мы бы встретились.

Но, увы, это невозможно. И я не могу бросить брата, ему 80.<sup>8</sup> Слишком поздно для нас расставаться. Смерть не за горами.

С любовью

Н. М.

---

<sup>8</sup> Брат, Евгений Яковлевич Хазин, написал несколько книг по русской литературе. Его этюд о Достоевском «Все позволено» вышел в свет в издательстве ИМКА-ПРЕСС.

## НЕЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ В УЛЬЯНОВСКЕ

(о А. Любичеве и Н. Мандельштам)

В мае 1948 г., я с сыном, в группе 32-х репатриантов из Франции, на электроходе «Россия» прибыла в Одессу, а затем мы жили в Ульяновске, где мой муж, приехавший за полгода до нас, уже работал инженером на заводе, изготовлявшем электроаппаратуру. И, случилось так, что живя в пятидесятые годы в Ульяновске, городе, который никогда не слыл особым интеллектуальным центром, я познакомилась сперва с Надеждой Яковлевной Мандельштам, а года через полтора и с Александром Александровичем Любичевым. Профессор Любичев тогда возглавлял кафедру биологии в Ульяновском Пединституте, а Надежда Яковлевна преподавала историю грамматики английского языка на факультете иностранных языков; а зиму 1948-1949 гг. я работала в этом же институте, где вела три группы — одну немецкую и две английских на первом курсе.

Осенью 1949 г. меня без предупреждения сняли с расписания лекций иностранных языков... А ровно через три недели, 20-го сентября, чины МГБ арестовали моего мужа, Игоря Александровича, и я осталась на целых пять лет одна, с сыном, которому тогда только что исполнилось пятнадцать лет, без всякой работы, больше того, без всякой надежды когда-либо ее получить.

Но это, конечно, «другая история», хотя, без нее, я верно с Любичевым никогда бы и не познакомилась; с Надеждой Яковлевной знакомство произошло еще в Пединституте, как-то совсем просто: я однажды между лекциями села в коридоре старинного пединститутского здания на чугунную скамейку немного отдохнуть, и не сразу заметила, что она сидит на другом конце.

— Простите, верно вы вдова поэта Осипа Мандельштама?

— Да, — ответила Надежда Яковлевна, — а что?

Я почувствовала в ее голосе несколько резкую, испуганную нотку, и поспешила ей объяснить, что зимой 1918-19 г. мне пришлось два раза встретить Осипа Мандельштама в петроградском «салоне» тех времен и слышать, как он читал свои стихи... Знакомство завязалось тут же, вероятно, в эти годы во всем Ульяновске не было второго человека, когда-то видевшего и слышавшего самого Мандельштама!

С Любичевым вышло посложнее, тут было некое предназначение судьбы. Провидение меня толкнуло неожиданно взять и пойти к совершенно мне незнакомым людям, кажется, это один раз в жизни со мной случилось. Вполне вероятно, что если бы я в этот день с Любичевым не познакомилась, то и я и мой сын погибли бы от черной нужды и морального одиночества... Это было осенью 1951 г. Положение наше было достаточно скверное, сын принужден был уйти из школы и поступить на завод учеником, в 16 лет стать рядовым токарем, а учение продолжать в Вечерней Школе Рабочей Молодежи. У меня случались иногда неожиданные заработки — переводы или занятия с отстающими школьниками или студентами; я уж продала все что было возможно, наконец удалось выхлопотать в МГБ разрешение на продажу кой-каких еще имевшихся вещей — ведь все наше имущество было описано при обыске и под угрозой возможной конфискации. Вот я и продала отрез шерстяной материи, еще что-то, и получилась некая сумма, верно рублей 1.600 (т. е. теперь это 160 рублей) и задумала купить пишущую машинку, чтобы начать как-то, что-то дома подрабатывать. Конечно, никакой пишущей машинки ни в одном магазине Ульяновска в те годы не продавалось, а надо было искать купить с рук, что, кстати, тоже было опасно, и я пошла посоветоваться в Пединститут. Там была секретарша, милая женщина, от нее можно было что-то узнать; она и направила меня к Любичеву, объяснив, что его жена опытная машинистка-стенограф и лучше всех даст совет как быть.

Любичевы жили совсем близко, в старинном двухэтажном каменном доме, где до 1918 г. помещалось Губернское Епархиальное Управление, а потом долгие годы Ульяновская ЧЕКА, — теперь этот дом звали просто «архиерейский дом». Там внизу была громадная пединститутская столовая для студентов, а в верхнем этаже библиотека института и, рядом с ней, квартира Любичева. Ольга Петровна, жена Любичева, приняла меня вежливо, внимательно, дала на мой вопрос точный ответ: нет, пишущую машинку нет никакого смысла покупать, т. к. все равно всякий частный заработок запрещен, а получать заказы на переписку от каких-либо учреждений мне, конечно, не удастся, там уж есть свои люди.

Я встала, поблагодарила за совет, извинилась за свой неожиданный визит и пошла к двери, Ольга Петровна меня вдруг окликнула:

— Простите, повторите, пожалуйста, вашу фамилию — я плохо расслышала. — Я ей ответила четко:



— Нина Алексеевна Кривошеина...

Она невольно всплеснула руками и воскликнула: «Господи!»

На следующий день ко мне в дверь постучала незнакомая пожилая дама, полная, круглолицая, с классическим серым со-



А. Любищев

ветским беретом на голове, старшая сестра Любищева, Любовь Александровна, которая у них постоянно жила. Она меня пригласила на следующий день к ним обедать, и с этого дня и вплоть до смерти Александра Александровича продолжалось это знакомство, вылившееся в тесную дружбу. Впервые, в Ульяновске, я попала в семью, где все были приветливы, не озлоблены, не

жестоки и, редко бывает, счастливы и между собой в полном ладу и мире. Любищеву тогда было шестьдесят два года, его жена года на два его моложе, оба были вдовы, случайно после войны встретились в Ленинграде и поженились, жили сперва во Фрунзе в Средней Азии, а теперь уж год как переехали в Ульяновск.

Александр Александрович был высокого роста, костистый, лицо некрасивое, нос крупный, длинный, глаза небольшие, светлые, но удивительно пронзительные, и, хоть вырос он в обстановке подлинного богатства и даже роскоши, к удобствам жизни относился свысока, мог пообедать просто и картошкой с солью; то же было и в одежде — лучше всего он себя чувствовал в старом ношеном костюме, в котором ходил в свои экспедиции по лесам и полям, надевал тогда старый черный берет, изношенный дождевик, ранец на плечо, старые ботсы на ноги — вот так как он изображен на единственной фотографии, которая у нас сохранилась.

Любищев был из весьма богатой петербургской купеческой семьи, отец его торговал лесом с Англией; у него были в Архангельской губернии громадные «лесные дачи», — предки Любищева были крепостными Аракчеева, и прадед его начал торговать, будучи еще крепостным. Природный оптимизм — одно из основных качеств всех Любищевых, он был и у Александра Александровича — редко помню его сумрачным, он всегда был в «хорошем настроении», всегда всем интересовался. Вот его «неравнодушие» к людям чрезвычайно в нем важно, когда бы к ним ни притти, сразу попадаешь в другой мир, а тот, страшный, уродливый — оставался за дверью; часто я там встречала Надежду Яковлевну, или милейшего Иосифа Давидовича Амусина, знатока рукописей Мертвого моря, аспирантов-биологов и т. д.

Любищев родился в 1890 г. в Петербурге, где окончил университет, и где, в 1930 г., защитил докторскую диссертацию. С присвоением звания у него тут получилась неприятность — «свыше» ему не хотели давать докторскую степень и дело тянулось несколько месяцев, но... внезапно главный его противник скончался, и он, получив диплом, попал в Таврический Университет. В Симферополе в эти годы были блестящие сотрудники, геолог Обручев, физики Френкель и С. Тамм, братья Палладины и А. П. Гурвич, которого Любищев чтит, как своего учителя, всю жизнь.

Любищев неустанно был занят изучением и классификацией

насекомых, и особенно вредителей злаков. Среди них главное место было отведено неким «блошкам»; он их и сам собирал или ему присылали из других институтов готовые препараты на стеклянных пластинках.

Когда ни придешь к Любищевым, если нет лекций или собрания в институте, Александр Александрович сидит за столом в большой комнате, микроскоп крепко в левом глазу, в квартире тишина и надо беседовать с дамами потихоньку. Он выходит в столовую к обеду или к чаю и часто объявляет довольным голосом: «Ну, сегодня план уж выполнил!» О, знаменитый план! — он его крепко держался: сегодня такое-то задание, и вечером отмечал в дневнике, сколько исполнил, или же чем иным в этот день занимался. Также подводил итог в конце года, например:

1937 г. — 1840 часов

1938 г. — 1402 часов

1940 г. — 1560 часов

и так абсолютно педантически всю свою жизнь! Таких дневников — отчетов он оставил несметное количество. Живя в Средней Азии во время войны, изучал там фауну и флору Иссыккульского района и руководил экспедициями в Тянь-Шань — а это как раз в те тяжкие годы, когда погиб его сын в Сталинградской битве.

За свою жизнь Александр Александрович опубликовал около семидесяти пяти научных статей, постоянно вел и обширную переписку с коллегами или с друзьями — не ответить на письмо считал неприличным,\* он и на чтение находил время. Но есть и другая сторона разнообразных интересов Любищева, это его статьи литературные, исторические, критические, и чего тут только нет! — у него были статьи о Достоевском, Гоголе, Лескове, о Марии Стюарт, Иване Грозном, Марфе Борецкой; под влиянием своего близкого друга, академика В. Н. Беклемишева, увлекся он Дантом и Платоном. — Некоторые из этих статей я читала сама, а подчас он мне сам их пересказывал! Часто он возвращался к образу Базарова, когда-то, в юности, это был его любимый герой, также и к Марфе Борецкой; это уж был его конёк,

---

\* По поводу переписки — маленький экскурс в будущее: когда в 1957 г. мой сын Никита был арестован в Москве и потом отбывал срок в Мордовских лагерях, Любищев ему туда постоянно писал прекрасные письма. Но и в сталинское время, когда я еще жила в Ульяновске, он не боялся вести переписку с своим другом, долго сидевшим в лагере — тогда редко кто на это решался.

он любил говорить, что большим несчастьем было для России уничтожение Новгорода и его вольницы. Может показаться, что Александр Александрович и разбрасывался — можно было писать писем поменьше или не читать всего Дарвина или Тейяр-де-Шардена (книги последнего мы ему посылали в Ульяновск позже, когда уж сами жили в Москве), но если бы он ограничился одними «своими» отраслями науки — энтомологией и таксономией, образ его был бы беднее, неполный, да и эти его разнообразные работы были ведь для него отдыхом.

Можно ли сейчас, через восемь лет после его смерти, сказать о Любичеве, что он был «диссидент»? — нет, это выражение не подходит, да и тогда, в сталинские-ждановские времена какие могли быть диссиденты? Однако, тот факт, что он никогда не уступил ни в чем, ни в каком важном для себя вопросе не поступился, сразу как бы его выделяет из среды советских ученых в те годы; конечно, он был не один такой, но... сколько их было, кто сумел устоять против Лысенко, и при этом не лишиться кафедры и не погибнуть в лагере? Любичев был «морганист», и никогда этого не только не скрывал, но когда нужно было, обязательно о себе так и заявлял. В 1952 г. осенью на него была целая атака, ряд статей в Ульяновской Правде, весьма жестких и злобных; вел эту кампанию директор Ульяновского Сельскохозяйственного Института, со смешной фамилией Красота. Но Красоте так и не удалось погубить Любичева, а вскоре и смерть Сталина и... будто все и изменилось; но вопреки всем ожиданиям, Лысенко не был отстранен, Любичев, где только мог, продолжал неустанную борьбу против него, и даже в 1954 г. специально поехал в Москву, подать в ЦК подробную записку «о злодеяниях Лысенко в советской агробиологии».

Любичеву вообще было неведомо чувство ненависти, но Лысенко он именно «ненавидел» всеми силами души.

Независимость поведения Любичева сказалась и в его отношении ко мне, подробности я уж узнала позже по секрету от сестры Любичева — Любови Александровны — перед самым своим отъездом из Ульяновска, летом 1954 г. В тот день, когда вернувшись домой из института, Александр Александрович узнал от Ольги Петровны про мое неожиданное у них появление, он сразу побежал к Надежде Яковлевне, чтобы все разузнать про нашу семью, вечером же был сумрачным и отказался сестрой ужинать, а потом, на уговоры хоть немного поесть ответил: «Нет, пока я буду знать, что рядом с нами живет женщина с сыном и

в городе, где всё есть, не могут ничего купить, я за стол не сяду!» «Что же делать?» спросила Ольга Петровна. — «А вот ты их накорми, чтобы они не голодали, а уж как это сделать — сама решай».

В Любичеве было много привлекательных черт, так он, например, мог спонтанно чему-то обрадоваться, придти в некий восторг. Так было, когда в 1953 г. я, услышав по Би-Би-Си (тогда в Ульяновске удавалось эту станцию слушать только по-немецки), что новозеландец Хиллари с своим шерпой Тензином за день до коронации нынешней английской королевы — взшел на вершушку Эвереста, то я, думая, что Любичеву такое событие будет интересно, — сразу же к ним побежала и уж при входе сообщила, что услышала. Как же Александр Александрович обрадовался, и тут сразу начал кружить по комнате, даже подпрыгивать, махать руками, и при этом все восклицал: «Ах! как чудесно! Вот какие люди! спасибо, спасибо, что так быстро сказали мне!». Такие приступы восторга с ним бывали, правда, чрезвычайно редко — казалось, что он, как ребенок на ёлке... Но он также мог внезапно заплакать: так, он как-то за обедом завел разговор про Пастера, очень любил о нем говорить и считал его одним из самых замечательных людей на свете, и оказалось, что я никогда не читала завещание Пастера. Он быстро достал его биографию, где это завещание было приведено целиком, и начал мне вслух читать... и вот внезапно в конце заплакал. «Что это вы, Александр Александрович?» — я была несколько смущена. «Да вот, — ответил он, — не могу опокорно такие чудесные слова читать... Да и сразу вспоминаю покойного сына... а ведь это мне на всю жизнь». И быстро встал из-за стола и пошел к себе за рабочий стол.

Верно, через год после нашего знакомства, его как-то вызвали в партком института и беседовали с ним: «Как же это вы, Александр Александрович, такой видный человек у нас в городе и принимаете у себя евреев, ну... и Кривошеину, какая же это для вас компания?» Он помолчал, пожал плечами и ответил: «а ведь правда, многие мои друзья евреи, а я просто никогда об этом не задумался, ну, а что касается Кривошеиной... да нет, я всегда принимал у себя кого хотел, так и дальше буду». — Это он мне сам рассказывал.

Был ли этот добрейший и высокой морали человек — верующим? Не думаю. В вопросах православия был он чрезвычайно осведомлен, прекрасно знал св. Писание, хранил у себя старин-

ную семейную Библию на славянском языке, однако в церковь никогда не ходил. Атеистом он тоже не был, а сам про себя говорил не раз, что он близок к «виталистам». Он не раз отказывался принимать участие в собраниях, где пришлось бы вести материалистическую или атеистическую пропаганду, и, как-то, рассказывая мне об этом, добавил: «А я им сказал, что же, давайте — я согласен, а вот оппонента вы мне дайте церковника».

Он скончался в 1972 г. в г. Тольятти на Волге, куда поехал читать ряд лекций заочникам в тамошний Биологический Институт. Его похоронили в ограде института, там было свое довольно старинное кладбище, там его могила и сейчас. Его жена, Ольга Петровна, пережила мужа всего на четыре месяца.

Я звала про себя Александра Александровича «последний русский Паганель» и даже как-то шутя ему про это сказала — он тогда подумал, посмеялся и сказал, что «вполне принимает такое сравнение — это очень даже почетно!» В данное время слава и легенда Любищева многими воспринята, и осталась о нем живая память: Московское Общество Испытателей Природы ежегодно устраивает чтения в его честь, посвященные проблемам биологии, которыми он занимался; последнее такое чтение проводилось в 1980 году, в апреле в Геологическом институте — геологи тоже всегда ведь были его почитателями.

Надо еще обязательно сказать и про жену и про сестру Александра Александровича, — конечно, решение взять на себя мою судьбу шло от него, но... дальше вступили они обе, и вся помощь и поддержка поступала уж исключительно через них, — недаром все были Любищевы и... филантропы! Милейшая Любовь Александровна и сама прожила эти страшные годы только благодаря брату, муж ее скончался в начале войны, единственный сын был «далеко от Москвы», где-то за тысячи километров (судьба почти всех попавших в плен в войну). Вот она была истинно верующей и церковницей, ходила на все службы в церковь — неуклюжее деревянное здание — когда-то евангелическая молельня. Была она и умна и образованна и сама доброта. Из всех Любищевых, она чаще всех приходила ко мне в зачумленную бывшую кухню, где я тогда жила, и всегда умела меня подбодрить, брата своего она боготворила и часто вспоминала, как они когда-то жили в Петербурге «у папочки». Что касается Ольги Петровны, то она была иная — достаточно властная, весьма решительная, прошла всю войну на фронте — имела и чины и ордена — она умела и привыкла работать — я всегда восхища-

лась тем, как она ровно и неумолимо стучала на машинке, но она была и организатор — дом свой вела крепко и незаметно. Она-то как раз и осуществляла всю помощь, которая шла от Любичевых ко мне, и удивительное дело, ни разу за те два с половиной года, что такое положение длилось, (и можно было предполагать, что конца ему просто не предвидится!) мне не пришлось о чем-либо ее попросить. Казалось, она уж вперед угадывала, что нужно. Она же мне устроила небольшой, но вполне законный заработок, — чтением к двум слепым студентам; — студенты эти, девушка и молодой человек (которые, кстати, окончив институт, поженились) приходили ко мне на дом. Читать приходилось много, иногда и пять и шесть часов сряду, и было очень утомительно. Но...это было что-то, в каком-то смысле все же нормализовавшее мое положение. А в ноябре 1953 г. я тяжело заболела — в Ульяновске разразилась как-то молниеносно страшная эпидемия дизентерии, я пролежала три недели в заражном бараке, и каждый день Ольга Петровна приходила туда, на конец города, меня навещать (кричали друг другу через стеклянную дверь), приносила мне книги, гречневую кашу (это была тогда редкость), пакетики настоящего чая, трехрублевки для раздачи няням, уборщицам и на кухне.

Но вот наступило время «реабилитаций», мой муж тоже был реабилитирован и в июне 1954 года покинул Лубянку и «Круг Первый», т. е. Марфино под Москвой, где из пяти лет отсидки он провел почти три года. Получить прописку в Москве удалось только через год, и в сентябре 1955 г. я окончательно покинула Ульяновск. А Любовь Александровна несколько ранее меня уехала к сыну в Карагандинскую область — и ее я уж больше так и не видела, хоть вечно вела с ней переписку. Что касается Надежды Яковлевны, то ей пришлось покинуть Ульяновский Пединститут во время дела кремлевских врачей, когда внезапно, как-то неожиданно, вспыхнула волна антисемитизма, ловко поддержания с верхов, а в глухомани, каким был тогда Ульяновск, это дело приняло совсем уж уродливые формы. В Пединституте быстренько устроили собрание преподавателей факультета иностранных языков, Надежду Яковлевну об этом собрании даже и не известили, и только к вечеру она, случайно зайдя в институт, узнала от какой-то секретарши, что отстранена от преподавания...

В этот день я как раз была у Любичевых (это все произошло в декабре или в январе), все были настроены нервно, нельзя было себе представить, что будет дальше, и вдруг звонок, и вхо-

дит Надежда Яковлевна и, с трудом произнося слова, рассказывает, что вот только что узнала в Пединституте... Когда она уж немного успокоилась, то сказала, что уж по дороге из института твердо решила немедленно уезжать, и верно поедет в Читу, где есть вакансия по преподаванию английского языка. И действительно, через неделю она Ульяновск покинула, а уж после Читы переехала в Псков и там что-то два года работала и уж оттуда сперва ездила на каникулы к брату, на дачу под Москву, а потом уж и переехала тоже совсем в Москву и жила у своей приятельницы Василисы Шкловской в маленьком закуточке, где с трудом помещались раскладушка, столик и табурет... Но там был телефон, и мы начали перезваниваться, контакт снова налачился... Но ведь это все был очень медленный процесс — еще раз наладить наново жизнь после волны террора 1948-52 гг. Мы с трудом переехали из маленькой комнаты в однокомнатную квартиру в 1961 г. — мой муж в Москве занимался исключительно техническими переводами с русского на французский, спрос был большой и переводы хорошо оплачивались. Конечно, первое, что мы сделали — вернули Любишевым всю сумму денег, которую они мне в Ульяновске передали, но... не без труда, — Александр Александрович твердил, что он никак эти деньги «в долг не давал».

Думаю, что Надежда Яковлевна получила небольшую отдельную квартиру в Москве тоже около 1962-64 гг. — точно не скажу. Но это было ужасно далеко от нас, более 40 километров, и встречи были не частыми, но всегда интересными — речь у нее была совсем особенная, свой, очень точный лексикон, красочный, — память прекрасная, но про этот её особый дар, конечно, многие знают, — а меня это всегда поражало: уж если она что рассказывает из бывших лет — значит все абсолютно точно и... ничего не забыто. Она никогда не простила, что её мужа, про которого она знала, что это один из великолепнейших поэтов нашего века, так ужасно, так бессмысленно загубили и потом бросили его тело с биркой в общую яму в лагере... Да и многие стихи Мандельштама мы сейчас знаем только потому, что она годами и годами повторяла их про себя наизусть, чтобы не забыть...

Когда Надежда Яковлевна получила свою отдельную однокомнатную квартиру на Юго-Западе Москвы, то месяцами, открывая утром входную дверь, находила на площадке букеты цветов, зеленые растения в цветных горшках, конфеты, письма, всякие наивные и трогательные сувениры; частенько в дверь звонили мо-



лоденькие девушки, предлагали ей помочь по хозяйству, пойти в лавку, приготовить обед... Ей даже пришлось передать по кругу просьбу прекратить эти знаки внимания — она всегда опасалась, что эта молодежь, так горячо высказывавшая ей свое почитание, может за это пострадать... А про себя она как-то мне сказала:



Н. Я. Мандельштам

«Ну, а для себя самой я больше ничего не боюсь, ведь если уж захотят меня повесить вниз головой, то и повесят, конечно!»

Я слыхала, что она тихо скончалась, заснула... а все-таки ареста так и не избежала, и её уж мертвую «утащили», в морг, все те же люди...

Последний раз Александр Александрович был у нас в Москве в 1971 г. проездом в Ленинград из Ульяновска — он уж тогда ходил с костылями, упал год до этого на кухне, сломал себе шейку бедра, починить по-настоящему ему ногу в Ульяновске не сумели. Он провел у нас целые сутки, и днем пригласил к себе двух молодых ученых. Я всех угостила крепким чаем, и хотела уйти на кухню, чтобы не мешать, но Александр Александрович попросил меня остаться — «у нас секретов никаких нет, а я хотел, чтобы и вы послушали». Вот так и вышло, что в течение чуть ли не четырех часов я слушала некий страстный монолог Любищева, а молодые люди поняли, что он хочет им сказать многое, для него самое важное, и не мешали ему неуместными вопросами. Что он говорил? повторить это сейчас уж совсем не могу — как жаль.

Когда молодые люди ушли, я все же Александру Александровичу заметила: — «А вы ведь говорили, что они придут с вами консультироваться по биологии, а вы им прочли целую лекцию о высшей человеческой морали. Вы не думаете, что они не это от вас ожидали?»... — «Верно, верно, — ответил мне Любищев, — но это не так уж важно, а вот, вдруг решил высказать им как бы мое завещание, это не задумано у меня было, но, раз уж так вышло, решил пусть послушают — ведь я чувствую, что видел их в последний раз»!

Париж

Январь 1981 г.

## ДВА ПИСЬМА А. ЛЮБИЦЕВА к Н. МАНДЕЛЬШТАМ

### 1.

Дорогая Надежда Яковлевна!

В последнем письме О[льге] П[етровне]\* Вы меня послали к черту за то, что я до сих пор не реагировал на присылку записок Осипа Эмилиевича по поводу натуралистов, в частности, Дарвина. Я бы не возражал от знакомства с чертом, так как люблю говорить с умными людьми независимо от их моральных качеств, а если судить по Фаусту, то Мефистофель там самая умная персона (сравните с дурацким хором ангелов в прологе). Но старая техника вызова черта утрачена, а адреса Вы не сообщаете, поэтому воспользоваться Вашей любезной путевкой я не в состоянии.

Я задержался с ответом из-за моей переписки по поводу моего одного письма, где я высмеял БСЭ, и, как это ни странно, получил от одной сотрудницы БСЭ, давней знакомой Ольги Петровны, приглашение написать статью в философскую энциклопедию «Биология». Конечно, думать, что мою статью поместят там, было бы дико, но для вправления мозгов молодежи я написал статью «Философия и наука» объемом около двух печатных листов. Вчера закончил, сейчас Оленька ее переписывает, и потому я приступаю к ликвидации моих корреспондентских долгов.

Замечания О.Э. «Вокруг натуралистов» и «Заметки о натуралистах», конечно, очень любопытны для суждения о том, как преломляются биологические теории в умах поэтов и писателей, наукой специально не занимавшихся. Записки не датированы. Если они написаны после того, как О.Э. познакомился, например, с Б. С. Кузиным (он был, кажется, довольно близко знаком), то непонятно, почему биологические взгляды Б. С. Кузина, весьма оригинальные, как и все у этого нашего общего друга, совершенно не отразились на этих записках. Вероятно, они мало говорили о науке, а больше о поэзии. А Кузин весьма критически относился к Дарвину, у О.Э. же к Дарвину необыкновенно восторженное отношение. Нельзя отрицать, что как тип ученого, Дарвин необыкновенно привлекателен. Исключительная любовь к науке, честность, самокритичность, огромное трудолюбие, позволив-

---

\* Жена А. А. Любицева.

шее ему преодолеть очень слабое здоровье, полное отсутствие карьеризма, нетерпеливость в подготовке работ, исключительная наблюдательность и благородное отношение к возможным соперникам. Ему вполне под пару его соратник по обоснованию теории естественного отбора, Уоллес. Вы, вероятно, знаете, что я далеко не поклонник Чернышевского, но приходится с ним согласиться, что звучит странным парадоксом, что два этих гуманнейших человека были основоположниками теории, достойной Торквемады. Правда, Уоллес, как известно, не распространял эту теорию на человека (при переходе от обезьяны) принимал сверхъестественное содействие. Обычно это считается дефектом теории Уоллеса, но этот «дефект» гарантирует от расизма. Поэтому, хотя в теории естественного отбора Уоллес шел дальше Дарвина, предвосхищая Вейсмана, к нему упрек Чернышевского относится в гораздо меньшей степени.

Хотя я давно сделался антидарвинистом, но облик Дарвина до сих пор не потерял для меня своего обаяния. Но это — область эмоциональная, а не рациональная. В науке же от эмоций мы не отказываемся, они являются мощным стимулом, но должны подчиняться голосу разума. И вот О.Э., как и большинство других писателей, даже самых выдающихся, не разбирается достаточно в мотивах работы ученых. Поэтому высказывания крупнейших писателей о науке показывают обычно полное непонимание духа науки. Возьмем нашего Тургенева: несомненно, (это) был очень умный человек. И возьмите его коротенький рассказ из стихотворений в прозе «Истина и правда». Рассказ, коротенькая сущность его: «Истина не может доставить блаженства. Вот правда — может: это человеческое, наше земное дело...» Если хотите, можно представить много данных, чтобы показать, что именно наслаждение в открытии истины является одним из самых мощных стимулов научной работы. Вам, конечно, известны легенды об Архимеде: «Эврика!» и «*noli tangere circulos meos*».

Возможно, что они не соответствуют исторической действительности, но тогда, значит, тот, кто выдумал эти легенды (летописец или народ) гораздо лучше понимал дух великого ученого, чем Тургенев, живший в 19-м веке. Известно также про одного из математиков, Бернулли, что когда он открыл свойство логарифмической спирали (что эволюта ее есть тоже логарифмическая спираль), то он пришел от этого в такой восторг, что завещал выгравировать эту спираль на своей могиле, как символ воскресения. Тургенев не говорит в этом рассказе, может ли красота

доставить блаженство и можно ли умереть за красоту, но надо полагать, что, будучи представителем чистого искусства, он это допускает. Иначе, если нельзя умереть за Истину, нельзя умереть за Красоту, а можно за Правду (т. е. справедливость и добро), то, значит, единственным достойным стимулом нашей деятельности является этический. Но ведь это как раз утверждают все противники чистого искусства и чистой науки. На самом же деле искреннее стремление к Истине и Красоте без всяких иных стимулов чрезвычайно широко распространено и очень почтенно, и следует думать, что истинные ученые стремятся только к Истине, а художники — к Красоте. Эстетический элемент играет огромную роль во всех науках вплоть до математики (мой учитель математики любил говорить: «математика — это красота»), а искусство, конечно, не лишено познавательной роли. Достаточно назвать два имени — Леонардо да Винчи и Гете: в основном они были художники, но какую огромную роль в их жизни играло стремление к истине чисто научного характера.

Чем же отличаются в биологии те две категории натуралистов, о которых пишет О.Э.: тех, которых он презрительно называет кропателями и составителями каталогов, и Дарвином. В сущности, надо различать не две, а три категории, а вернее — четыре, смотря по тому, какой основной стимул руководит ученым: 1) разум — стремление постичь тайны природы; их можно назвать естествоиспытателями; 2) эстетическое чувство — натуралисты; 3) мода — случайная примесь и 4) карьера и практические потребности. Если стремление к практике совмещается с искренним стремлением к чистой истине, то получают величайшие ученые типа Архимеда и Пастера, если же практика является единственным побуждением, то в огромном большинстве случаев получают шарлатаны. Вот неумение различать эти категории и приводило и приводит даже умных и честных писателей (я не говорю уже о современных «инженерах человеческих душ») к досаднейшим ошибкам.

Вы, конечно, знаете, что Свифт в Гулливере подверг осмеянию чудаков-ученых. Кого же он осмеял: членов Королевского общества во главе с великим Ньютоном! О.Э. пишет, что «Пиквикский клуб» Диккенса есть сатира на естественно-научное дилетантство. Я не так давно перечитал Пиквика, но этого элемента я даже не заметил. Что среди коллекционеров-любителей было много бездельников, занимавшихся собиранием коллекций по моде или просто от скуки, это, конечно, верно, но значительная часть

были искренними натуралистами, работа которых была необходима и для выросших из их же среды естествоиспытателей, к которым принадлежит и сам Дарвин. Ведь Дарвин в течение восьми лет потратил много труда на составление четырехтомной монографии об усконогих раках в стиле «кропательства и каталогизации». Сам Дарвин в автобиографии пишет, что писатель Э. Литтон-Булвер, несомненно, вывел Дарвина в одном из романов под видом профессора Лонга, написавшего два увесистых тома о ракушках. А ведь Дарвин напечатал своих «Усоногих» в 1894 году, когда он был уже крупным ученым (вероятно, уже в то время — членом Королевского общества), известным своими путевыми заметками, теорией коралловых рифов, геологическими исследованиями и проч. Это чрезвычайно характерно для писателей (если они только писатели) всех времен: высокомерная оценка труда тех ученых, работа которых им кажется скучной и не имеющей практического значения.

Дарвин по своим стремлениям не был принципиально отличен от столь презираемых систематиков. Всё дело в том, что к его времени назрела необходимость пересмотра теоретических основ биологии, и на такой пересмотр требовалось затратить очень много сил. И не следует думать, что Дарвин был первым выдающимся естествоиспытателем. Аристотель уже был очень думающим человеком; таковыми были, конечно, Линней, Кювье, Ламарк, Сент Илер, Бор и проч. Дарвин просто разрешил одну из очередных крупных задач, но в своем решении оставил в тени другие крупные задачи биологии, и сейчас нам во многом приходится возвращаться к идее Кювье. Например, книга моего друга В. Н. Беклемишева: «Основы сравнительной анатомии беспозвоночных животных» (кстати, получившая даже Сталинскую премию) возрождает понятие плана строения в кювьеровском понимании; наш общий друг Б. С. Кузин стремится внедрить в систематику понятие типа в смысле Гете.

Никакой революции в описании животных Дарвин не произвел. Просто для разных целей требуются разные формы описания. О.Э. восхищается художественной формой описания жуков, сделанной Палласом, где «насекомое костюмировано и загримировано под китайский придворный театр, под крепостной балет». Всё дело в том, что Паллас использует прежде всего цветовые признаки. Это и сейчас делают и тогда описывают в духе Палласа. Если же это делается всё реже и реже, то дело вовсе не в том, что «искусство дворянско-феодальной миниатюры Палласа пришло

в упадок», а потому, что пользование цветовыми признаками имеет два недостатка: 1) очень часто они вовсе не могут быть использованы, так как близкие виды сходны по окраске; 2) в других случаях цветовые различия непостоянны, почему Линней придавал цветовым различиям ничтожное систематическое значение. Что же касается эстетического восприятия насекомых, то тут часто имеет место лицемерие. Энтомологи, в частности, искренне восхищаются своими объектами, но стыдятся в этом признаться, так как считают, что для ученого эстетика противопоказана. Писатели сумели убедить таких ученых, что наука обязательно должна быть скучной, и многие ученые всерьез обвиняют выдающихся натуралистов и естествоиспытателей, что они пишут недостаточно скучно. Например, такой выдающийся наблюдатель, как Фабр, писал очень свободно, не стараясь писать так называемым ученым жаргоном. Некоторые ученые педанты считали, что это недостойно науки. В этом же обвиняли нашего талантливейшего энтомолога Шевырева.

Но есть блестящие исключения. Крупный и очень думающий австрийский энтомолог *Brunner von Wattenyl* написал даже статью: *Die Farbenpracht der Insekten*, где разбирает окраски насекомых с откровенно эстетической и полиграфической точек зрения. Я считаю эту статью выдающейся, но большинство отвергает ее, как явно «идеалистическую», антидарвинистскую: это совершенно правильно, но это не означает, что она неверна.

Не следует думать, что Дарвин первый ввел функциональную зарисовку (шелкун, потом почему-то говорится о кузнечике), просто способы описания различны: когда речь идет о физиологии — описывают с физиологической точки зрения, в систематике — без учета физиологии, тогда Дарвин (вопреки мнению О.Э.) выписывает весь длинный «полицейский паспорт животного или растения». У О.Э., очевидно, получилась переоценка Дарвина в силу контраста. Он пишет (зам. о натуралистах, стр. 2), что с детства приучил себя видеть в Дарвине посредственный ум, так как его теория казалась подозрительно краткой: естественный отбор. Но, ознакомившись с его сочинениями, О. Э. резко изменил свою оценку. Конечно, теория Дарвина не исчерпывается словами «естественный отбор», как правильно заметил критик Дарвина Данилевский. Дарвинизм — это не научная, а философская теория, хотя сам Дарвин, сознавая, что его теория будет иметь философское значение, недостаточно ясно сознавал, что главное значение будет именно философское. Это объясняется прежде всего тем, что он вовсе не был «величайшим эрудитом своего века». Гораздо

большей эрудицией отличались, например, Иоганнес Мюллер, Гельмгольц, Пастер. Если к словам «величайший эрудит своего века» прибавить слова: «среди представителей неточных естественных наук», то это будет более или менее справедливо, но в области точных наук Дарвин был вовсе не сведущ, и философски его кругозор был крайне ограничен.

№ 12 заметки о натуралистах — ссылка на «Философию зоологии». Это заглавие основной работы Ламарка, человека гораздо более широкой эрудиции, чем Дарвин, но не сумевшего изложить свои идеи в достаточно убедительной форме прежде всего потому, видимо, что они пришли к нему слишком поздно. Если бы они пришли к нему раньше, и его идеи, как это принимается, были сродственны идеям французской революции, то он написал бы «Философию зоологии» не в 1809 году, а раньше.

Ни Ламарк, ни Дарвин, по существу, Линнеевскую систематику и не тронули. Способ описания остался совершенно тот же самый. Изменилось только понимание в толковании системы.

Вот те мысли, которые мне пришли в голову при чтении заметок. Я думаю в этом году написать первую часть большого труда, это будет аксиоматика дарвинизма, но это, вероятно, будет только к концу года.

Вероятно, я в апреле-мае совершу турнэ в Киев, Минск, и Ленинград, и Москву.

Пока всего лучшего, спасибо за присылку этих заметок. Оленька сняла копию, оригинал возвращаю с письмом. Был бы рад Вас повидать, если будете в Москве — сообщите, может быть, удастся свидеться.

Искренне к Вам расположенный

А. Любищев.

Ульяновск,  
18 марта 1958 г.

---

2.

Н. Я. Мандельштам  
Чебоксары, ул. Ворошилова 12,  
кв. Павловой.

Дорогая Надежда Яковлевна!

С огромным удовольствием прочли Ваше теплое и умное письмо и постараюсь на него кратко ответить.

В отношении того — составляют ли систему мои высказы-



вания, ответ дан в длинном письме к Жеке, копию которого Вам пересылаю. Я думаю, что сейчас все мои работы связаны друг с другом и обусловлены логической цепью обоснования и защиты новой биологии. Это вместе с тем отчасти и объясняет то, что я не стремлюсь расширить многих своих эстетических запросов. По-видимому, Вы были очень довольны, что некоторые стихотворения Вашего покойного мужа мне нравились. Верно, что одно или два я почувствовал. За это время у меня было еще и другое новое эстетическое переживание. Будучи в «Борке», я первый раз с чрезвычайным удовольствием прослушал действительно высокую музыку. Там я слышал на долгоиграющих пластинках «Крейцерову сонату» Бетховена. Весьма возможно, что если бы я стал посвящать больше времени чтению стихов и слушанию хорошей музыки, я, может быть, и понял бы самые высокие произведения, но это не входит в мою систему и поэтому я удовлетворяюсь теми стихами (скажем, А. К. Толстого, Лермонтова, Жуковского, Некрасова и др.), которые мне приятны, не делая попытки подниматься в более высокие сферы, которые я вполне уважаю, но считаю, что необъятное объять невозможно. Я резервирую только за собой право считать, что необязательно непонятные для меня стихи и музыкальные произведения выше того, что я понимаю. Наряду с действительно очень высокими непонятными для меня произведениями, вероятно, непонятно для меня и многое такое, которое просто относится к иному канону, вовсе не более высокому, чем тот канон, который мне нравится. И вот для обоснования этого могу использовать опять то же слушание «Крейцеровой сонаты». Что существует такая соната, я в свое время узнал только прочтя повесть Льва Толстого под тем же заглавием. Это было очень давно. Так как тогда я был полным нигилистом, музыкой не интересовался, то и полагал, что «Крейцера соната» написана Крейцером. Из самого чтения повести я сделал два вывода: 1. что написавший «Крейцерову сонату» Лев Толстой никак не мог быть счастливым в семейной жизни, и в этом я был, оказывается, прав; 2. что эта самая «Крейцера соната» есть какое-то исключительно развратное, возбуждающее чувственность, произведение, если Лев Толстой, который большинством людей признается великим художником и великим знатоком разных видов искусства, избрал это произведение как символ господства животного начала над человеческим. Когда узнал потом, что «Крейцерову сонату» написал Бетховен, вообще более, чем другой крупный композитор, для меня доступный, то я усомнился во втором толковании, а когда я прослушал эту сонату в хорошем исполнении,

то убедился, что, очевидно, Лев Толстой в настоящей музыке ни хрена не понимает. Более нелепого толкования, чем дал Лев Толстой, дать невозможно. Совершенно для меня ясно, что сам Лев Толстой был крайне обуреваем чисто животными стремлениями, это он сознавал и с этим старался бороться, но почему Бетховену попало — это уже дело чистой физиологии, а не разума. Из воспоминаний Софьи Андреевны видно, что она когда-то увлекалась Танеевым. Л. Толстой, очевидно, сильно ревновал, и так как, возможно, С. А. вместе с Танеевым исполняла «Крейцерову сонату», то у Л. Толстого и образовался условный рефлекс, установивший связь между его ревностью и таким величайшим произведением, каким является «Крейцера соната». Вы знаете, что наш общий друг Б. С. Кузин, у которого я гостил десять дней, резко отрицательно относится к Л. Толстому (между прочим, это не столь редкое явление). Я не являюсь восторженным поклонником Л. Толстого, считаю, что большинство его философствований (кроме суждения о Шекспире) чрезвычайно невысокого уровня и ставлю его гораздо ниже А. К. Толстого или, например, Лескова, но всё же я считаю его крупным писателем и не мог понять такого резко отрицательного отношения Б. С. Теперь я понимаю, и хотя своего отношения к Толстому не изменил, но этот случай с «Крейцеровой сонатой» прибавил мне еще один резкий аргумент для моего критического отношения к нему.

Ваше замечание о сравнении Энгельса и Ленина, по-моему, очень метко. Для Ленина философия была целиком подчинена его политической деятельности, и это было причиной написания его книги «Материализм и эмпириокритицизм» со всеми вредными последствиями. По ряду последующих замечаний Ленина, в конспектах на «Историю философии», можно догадаться, что если бы у него было больше времени, он мог бы исправить сделанные им ошибки, которые сейчас книжниками и фарисеями используются во вред культуре. Об этом у меня намечено написать в «Философских письмах», но до них я доберусь, вероятно, не скоро, вернее, до соответствующей части «Философских писем».

Теперь очень трогательны Ваши сомнения о своевременности моих писаний. Выражаясь Вашим языком, «позвольте, сказал Ал. Ал. и полез разговаривать...». Эта фраза мне очень понравилась, и согласно с ней я сейчас и лезу.

Вам кажется осложнением, что я, будучи рационалистом, в значительной части своих боковых высказываний — моралист, и потому я могу попасть на крючок. Хотя тут же Вы возражаете себе. Что я рационалист, это, конечно, верно. И мой рационализм

распространяется целиком и на область морали. Поэтому я моралист не вопреки тому, что я рационалист, а именно потому, что я рационалист. Тут я вовсе не оригинален, тут я следую великой традиции Сократа, Платона, Аристотеля, Спинозы, Канта. Начиная с Сократа, развивается положение, что разум есть не только высшая, но и единственная подлинная добродетель человека и что неразумный человек быть подлинно добродетельным не может.

Ваше рассуждение о моменте и времени вполне справедливо, и я вполне понимаю разницу между пеной и течением. Вы пишете, что течение других изученных областей мне не поможет. Эту область я очень внимательно и давно изучал. Я никогда не принимал участия в политике, но всегда ею интересовался, и поэтому я, пожалуй, лучше разбираюсь в ходе событий, чем многие лица, обвиняющие меня в наивности и оторванности от жизни. Поэтому я полагаю, что никакой крючок мне не угрожает.

Живем мы сейчас прекрасно. Дела у нас обоих столько, что не до скуки. Супруга моя чувствует себя гораздо лучше. Волнения последних лет уже прошли, она очень довольна за Кумочку, которую мы все любим, и сейчас у нее появилась опять любовь к систематизированию и обработке наших мемуаров. Я сейчас ей диктую раз в неделю воспоминания о Перми (по просьбе Пермского университета, которому на будущий год исполняется 40 лет), а затем мы решили каждую неделю часа 2-3 посвящать записыванию под диктовку моих воспоминаний. Это и ей доставляет удовольствие и мне тоже.

Материальное положение у нас сейчас улучшилось в связи с отъездом Любочки и амнистией ее сына, так что, очевидно, на пенсию мы сможем жить, не нуждаясь в дополнительном заработке. Так что будем заниматься только тем, что для нас представляет интерес.

Целую Вас, нашего общего милого друга.

Ваш А. Любишев.

Ульяновск,

15 октября 1955 г.

---